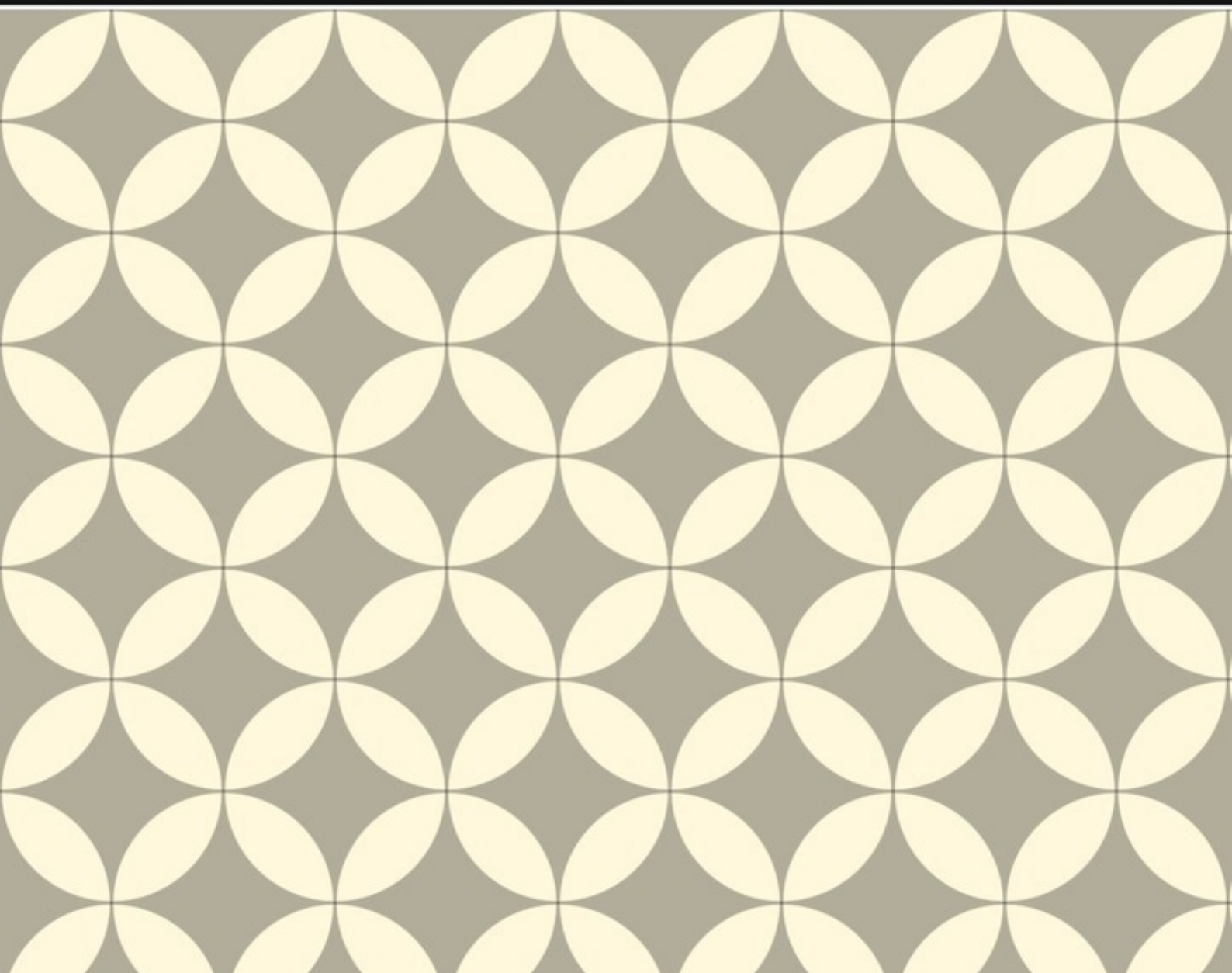


Владимир Якубец

*Второе
пришествие*



Владимир Якубец

Второе пришествие

«Издательские решения»

Якубец В.

Второе пришествие / В. Якубец — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-966646-8

Эта книга представляет собой попытку автора отразить движение противоречивой человеческой природы от бессмыслия к великому смыслу. Благодаря полифоничной структуре фабулы в это произведение просачивается исторический, мистический, эзотерический, философский и даже поэтический аспекты. Стеб и серьезность, быт и романтизм, жизнь и ее сюрреалистическое отражение — таковы объективные реалии этой книги. Книга содержит нецензурную брань.

ISBN 978-5-44-966646-8

© Якубец В.

© Издательские решения

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ	6
ЧАСТЬ №1	7
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Второе пришествие

Владимир Якубец

© Владимир Якубец, 2019

ISBN 978-5-4496-6646-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Роман в четырех частях

*Этот скромный труд посвящается, во-первых,
тем страдальцам, которые пролили свою горячую
кровь за правду, добро и свободу;
а во-вторых, тем миллионам простых людей,
которые разделяли со мной бремя моей судьбы
в моих земных скитаниях.*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта история может показаться вам невероятной, абсурдной и даже нелепой, но, несмотря на некоторую фантастичность формы, она представляет собой чистую правду, описание которой потребовало от меня гибкого выведения психологической субъективности личностных переживаний, свойственных человеческой природе, через образ фантазмагии в какой-то мере выдуманного, но всё же пережитого и прочувствованного бытия.

Было бы наивно и опрометчиво думать, что глубокомысленный читатель не засмеётся над некоторыми, слишком уж вычурными, изгибами сюжета. Сознаю это. Впрочем, я готов и сам надо многим смеяться, но лучше воздержусь, ибо из опыта знаю, что то, над чем мы зачастую смеёмся, в конце концов, оказывается насмешкой над нами же, ибо всё есть во всём, а любое в любом.

Предвижу также, что мне (автору) не суждено будет избежать читательской критики, а вместе с ней многих параллелей и сравнений, тем паче, что требовательный и глубокомысленный читатель имеет на это полное право. Заранее предвкушая все неблагоприятные отзывы, а может быть, даже и освистание, я всё же тешу себя надеждой, что для кого-то мой скромный труд окажется не лишенным интереса и смысла.

Есть ещё одно обстоятельство, которое, с учетом всего вышесказанного и ввиду дальнейших описываемых событий, нуждается в особом разъяснении. Обстоятельство это – исключительное и несколько необычное положение тех условий, в которые попал человек, со слов которого и написана эта история. Человек этот давно умер. А свою историю он мне рассказал уже после своей смерти. Понимая всю экстравагантность и необычность этого факта, я прошу читателя, ради памяти к покойному, выказать снисходительность к перипетиям повествования и, хотя бы на время, отказаться от реалистической точки зрения, чтобы с успокоенным духом погрузиться в мистические метаморфозы конкретного человеческого сознания.

ЧАСТЬ №1

- Ты веришь в Бога?
 - Не знаю...
 - Почему?
 - Потому, что я его в лес выгнала!
- Из разговора взрослого
с маленькой девочкой.

Я не знаю, как я попал сюда, всё здесь было каким-то странным, хотя все выглядело обычным: аллея, по сторонам которой росли старые липы; цветник перед домом; сам дом: маленький, деревянный, старый, вокруг обросший кустами смородины и шиповника. Но, не смотря на прозаизм окружающих видов, что-то в глубине души подсказывало мне, что я попал в необычное место, – уж слишком сладок был здешний воздух, да и птицы пели вокруг глубоко и упоительно, как-то не так, как они поют на земле.

Я прошел через аллею и подошел к дому; ставни в доме были открыты. Я начал обходить вокруг, чтобы найти двери, но вместо дверей я увидел только порог и дверной проем, – самих дверей не было, хотя на дверной коробке, где они должны были находиться, висели ржавые петли, которые свидетельствовали о том, что двери когда-то тут были.

Постояв с минуту перед порогом в каком-то странном недоумении, я, почему-то робко, позвал:

- Эй, есть здесь кто-нибудь?!

Не успел я произнести эту фразу, как тут же услышал позади себя голос:

- Иду, иду, милый... уже иду!

Я обернулся и увидел, что через сад ко мне идет старик. Он был лыс, но имел чрезвычайно густую и белую бороду. Одежда его была по-деревенски проста и неказиста, и состояла из какой-то светлой рубахи и старых, во многих местах латаных, штанов военного покроя. Старик был бос, а в руках держал дымящийся дымарь для окуриванья пчёл.

- Здравствуй, отец, – сказал я ему, когда он приблизился.

– Здравствуй, милый, здравствуй, – ответил старик, при этом всё лицо его осветилось улыбкой. Это меня несколько ободрило.

– Вы меня извините... точнее, поймите правильно, – начал говорить я, путаясь и тщательно подбирая слова от боязни быть не понятым, – дело в том... гм... как бы это вам объяснить... одним словом, вы не могли бы мне сказать, где я? Я хотел бы знать, что это за место?... то есть, где я сейчас нахожусь?

К моему удивлению эти нелепые вопросы не произвели на старика решительно никакого впечатления. По-прежнему продолжая улыбаться, он ответил:

- Иногда, чтобы понять где ты, нужно знать кто ты.

– Кто я? Я ... – тут в моей голове произошло внезапное озарение, в том смысле, что я, несомненно, понял, что сказать мне про себя нечего, настолько нечего, что я растерянно пролепетал:

– Я... я... я не знаю кто я.

– Плохо родненький, плохо, – произнес старик, сокрушенно качая головой, — а имя своё-то ты помнишь?

– Андрей, – выговорил я, сам удивляясь тому, что в моей голове, не смотря на полное отсутствие какой-либо информации о себе, всё же сохранилась память о том, как меня зовут.

– Вот и слава богу! Вот и славно! А то, бывает, приходят и даже имени своего не помнят, приходится потом сверяться по бумагам.

Я посмотрел на него в недоумении, совершенно не понимая о чем он говорит, а он вдруг, хлопнув себя ладонью по голове, воскликнул:

– Эх, что же это я, гость пришел, а я, вместо обеда, его разговорами потчую!

Сказав это, он развернулся и медленно побрел в глубину сада, но пройдя несколько шагов, он остановился, обернулся ко мне и произнес:

– А ты что стоишь... пойдем, пойдем... отведаешь мой хлеб и мою соль.

Я, ни говоря ни слова, пошел за этим странным стариком. Все в моей голове путалось: где я? кто я? что все это значит? Словно туча назойливых комаров зажуужали у меня в голове эти вопросы, впрочем, душе моей было легко, ибо в сердце моем была какая-то тихая радость, источник которой, быть может, был связан с царившим у меня в сознании забвением.

Сад разделялся тропинкой на две части. В одной его части под деревьями стояли улики, из которых с веселым гудением вылетали дружные пчелы. В другой его половине, на четырех толстых деревянных столбах, стоял какой-то навес с тростниковой крышей, который абсолютно не имел стен, но который был довольно просторным, просторным до такой степени, что под этим навесом свободно помещалась печка-плита, на которой, судя по всему, дед готовил себе пищу, и еще два стола: один заставленный кухонной утварью, а другой полностью пустой. Здесь же, под крышей, висели листья табака и несколько вязанок горького перца и лука. Возле пустого стола, по обе его стороны, стояли две скамейки. Неподалеку от навеса находился выдавший виды рукомойник с покосившимся зеркалом и медным бачком для воды.

– Ты, Андрюша, покамест суть да дело, возьми ведро и сходи, принеси водицы, – сказал старик и тут же добавил, – а то мне с этими пчёлами не досуг было, хотя я еще утром хотел принести.

– А где воду брать?

– Вода в колодце, это в конце сада.

Я взял ведро и отправился через сад к колодцу. Ходить по саду вообще приятно, но особенно это чувствуешь, когда в саду наступает время созревания плодов. Сейчас была как раз

эта пора. Все радовало глаз: и яблони с тугими начинающими наливаться сладостью яблоками, и груша с падающими на землю от спелости плодами, и желто-розовый цвет медовых слив.

У самого колодца рос персик – он цвел. Я онемел от удивления. Постояв немного возле цветущего дерева, я, все еще не переставая удивляться, начал опускать ведро в колодец. Набрав воды, я пошел назад.

– О, а вот и он. Ну что, принес? – спросил меня старик с приветливой улыбкой. – Я уж было думал, что ты заплутал. Я тут уже и на стол успел накрыть, – и он указал на стол, на котором уже успели появиться тарелки, нарезанный хлеб, пучок зеленого лука и чугунная кастрюлька из которой шел аппетитный пар.

– А что это у вас тут персик цветет? – спросил я старика, все еще держа ведро с водой в руках; этот цветущий персик почему-то не выходил у меня из головы.

– Что же здесь такого? У нас всегда либо лето, либо весна, – чаще и то и другое вместе, – ответил мне дед.

– Да я так... просто спросил.

– Ты, вот что... воду в рукомойник налей, руки надо помыть. Вот мытье рук вроде бы и пустяк, а между тем это делает из человека цивилизованное животное, – сказав это, старик посмотрел на меня так задумчиво, что мне на какое-то мгновение показалось, что этому старику на тысячу лет вперед известно то, что я отвечу.

– Воду-то наливай, что ты на месте застыл!

Я наполнил рукомойник, поставил ведро и начал мыть руки.

«Странно, – проговорил я про себя, – такое ощущение, что это какой-то сон». Впрочем, думал я недолго, голос деда вдруг вернул меня в реальность:

– Ну что, садись к столу, наверно проголодался!
Он начал разливать похлебку по тарелкам.

– Мне почему-то кажется, что я здесь не даром... как будто мне кто-то когда-то сказал, что именно в этом месте мне что-то откроют. Странное чувство, не правда ли?

– Ты в чувстве не ошибся, но этот разговор мы отложим до конца обеда – слишком непростая тема нам предстоит, так что давай сначала поедим. Бери ложку.

– О! очень вкусно... вы умеете готовить.

Суп был действительно недурен.

– Ты лучок бери и присаливай, может быть, я недосолил.

– На соль нормально. Мне почему-то не дает покоя другое... у меня не выходят из головы ваши слова.

– Неужели?

Старик смотрел на меня с улыбкой.

– Вы сказали, что у нас должен быть разговор, и это не выходит у меня с головы.

– Э, оставь. Право, милый, оставь. Давай вот я тебе лучше историю расскажу. Он начал рассказывать, не забывая при этом опускать ложку в тарелку.

– У одного человека было два сына, и он решил разделить имение свое между ними. Один из сынов, получив свою часть имения, остался при отце, – ухаживать, так сказать, за отцовскими сединами. Другой сын, забрав прилегающуюся ему часть отцовского удела, ушел в другую страну и там распустил все, что у него было, являясь с пьяницами и блудницами. И настал в той стране голод, и сей юноша мечтал о том, как бы напитать чрево свое хотя бы тем, что обычно предназначалось для свиней, но и этого ему не давали. Тогда воскликнул он в сердце в своем: «У отца моего много наемников и каждый из них всегда сыт. Пойду я к отцу моему и скажу: согрешил я перед небом и землей, и уже не достоин быть сыном твоим, прими меня в число наемников своих». И пошел юноша к отцу. И увидел его отец и возрадовался. И принял отец сына в дом свой. И жили все они долго и счастливо.

Старик внезапно замолчал, медленно взял в руки краюху хлеба, отломил от нее добрый кусок, посыпал его солью и снова принялся за суп.

– Знаешь, что во всей этой истории меня больше всего занимает? – проговорил старик минуту спустя.

– Нет. Откуда же мне знать...

– Меня всегда занимал вопрос: что если этот блудный сын после прощения возьмет и обкрадет своего отца, и снова все прогуляет, и снова раскается, и опять пойдет к отцу прощения просить. Простит ли его отец во второй раз? А в третий? А в четвертый?

– Мне кажется, что он его всегда простит.

– Ты вот говоришь, что отец всегда простит сына; в таком случае:

«да здравствует безнаказанность», ведь любые проступки, при таком положении вещей, превращаются в чистую формальность – все равно, в конечном счете, простят.

– Не знаю, я об этом никогда не думал.

– У этой истории может быть еще один конец.

– Какой?

– О, это фатальное разрешение вечной истории: сын, сто раз просивший прощения у отца, вдруг устыдится идти и просить прощения в сто первый раз, ибо так ему гадко станет от своего нечестия.

– И что тогда?

– Да ничего особенного; у сына две дороги: либо он станет святым, либо пожнет ад.

– А что будет с отцом? – спросил я старика.

– Отец пойдет искать сына – это уж обязательно... хотя, от него в этом случае мало что зависит.

– А почему так?

– В нравственном совершенствовании посредников не бывает, ибо говорить

«нет или да» нужно всегда самому, вот почему от отца мало что зависит. Видишь ли, каждый сам решает, кем ему лучше оставаться – свиньей или человеком. Никакое прощение, в этом случае, ничего не решит. Если прощают нераскаявшегося негодяя, то он будет после этого, лишь прощенный негодяй, и не более того. А если негодяй переделает себя из плохого человека в хорошего, если он станет праведным человеком и честной жизнью докажет что ошибки прошлого всего лишь ошибки прошлого, так зачем ему после этого прощение? Прощение не простая вещь. Прощение, ежели оно не своевременно, может оказать человеку медвежью услугу; сняв с человека бремя ответственности посредством прощения, можно оставить человеческую совесть без необходимого топлива полезного для духовного роста. В то же время несвоевременное отсутствие прощения может на веки искалечить человека. Как же быть? Один Господь знает, как и когда прощать, а человек все равно будет поступать по велению своего сердца и так, как подсказывает ему насущная ситуация, однако, всякому человеку лучше перепростить, чем недопростить.

Все что говорил этот фантастический старик, как-то вдруг навалилось на меня и повергло меня в задумчивость. Мне почему-то показалось, что и говорил-то он с намёком, я, разумеется, не стал ему на это указывать, потому что не совсем был в этом уверен.

Между тем старик встал из-за стола и подошел к вязке, висевшего и сушившегося здесь, коричнелистового табака. Отломив несколько сухих, издававших шелест листочков, он сказал:

– После обеда и святые закуривают.

Старик сел за стол. Я, молча, следил за тем, как он измельчал табак, аккуратно перетирая его щепетильными движениями пальцев. Потом он достал из кармана трубку и стал её не спеша набивать.

– Скоро монахи придут, нам до их прихода нужно обо всем переговорить, – сказал старик и запалил трубку. В это мгновенье лицо его выражало блаженство.

– Какие монахи? – удивленно спросил я; мне почему-то казалось, что здесь, на сто миль вокруг, кроме нас двоих никого нет.

– Здесь монастырь недалеко – мужской; монахи приходят ко мне в сад собирать фрукты для своего стола, а взамен приносят мне муку, соль и прочее, – пояснил старик и, выпустив изо рта густое облако голубоватого дыма, заговорил шепотом. – Я тебе объясню почему ты здесь и почему твое сознание в таком состоянии, я тебе все объясню, ты только внимательно слушай. Видишь ли, когда-то давно, Бог, сотворив мужчину и женщину, поселил их в раю; но они, вкусив от плода познания «добра и зла» лишились райского блаженства, променяв его на изменчивую суетность жизни, которая наполнена если радостью, то и скорбью, если смехом, то и слезами, если наслаждением, то и болью. В конечном итоге многие люди так безнадежно запутались в путях своих, что их жизнь стала представлять собой всецельную и непрерывную цепь горя, зла и страданий. И поэтому премудрый Бог, по безграничной милости своей, даровал забвение всякому покинувшему мир грешнику, для того, чтобы каждый переступивший загробную черту, мог предстать пред Его лице и не сгореть в огне геенны от собственного стыда за недостойно прожитую жизнь. Но Господь не хотел лишать человека свободы, поэтому каждому предлагается выбор: либо жить, как «ангелы небесные» в раю, навсегда забыв прошлое познание о добре и зле – словно несведущий младенец; либо прочитать «книгу собствен-

ных грехов» и претерпеть уготованное – испив, так сказать, чашу до дна, но после этого, быть может, стяжать славу большую, нежели имеют ангелы, а может быть, пожать ад. Ты умер, мой друг, понимаешь – умер! Иначе говоря, перешел из одного мира в другой. Поэтому, мой мальчик, тебе должно сделать выбор между безмятежным неведением и абсолютным познанием.

Слова этого старика были так странны, что я на какое-то мгновение совсем растерялся. Да и что я мог в то время решить – ведь я был словно младенец.

– Ты не принимай это так близко к сердцу, – начал утешать он меня, очевидно догадавшись о моем настроении. – В конце концов, будет то, чему должно быть.

– Что же мне теперь со всем этим делать?

– Знаешь, мне не хочется влиять своими советами на свободу твоего выбора, но, поверь мне, твое сердце, когда наступит время, само решит в какую сторону идти. Сейчас иди, – погуляй по саду. Это успокоит твои мысли. А мне еще надо со стола убрать, хочу успеть до прихода монахов.

Я оставил старика и пошел в сад. После такого разговора мне действительно нужно было основательно развеяться, – ничто так не способствует этому, как хорошая прогулка. Да и день к тому же был удивительно хорош. Солнце, просвечиваясь сквозь листья деревьев, бросало на землю трепещущую светотень; ветер, путаясь в ветках, разливал по саду нежную мелодию шелеста листвы. Откуда-то доносилось чириканье воробьев и монотонное гудение горлицы. Все, вплоть до последней былинки у меня под ногами, было проникнуто спокойствием и умиротворенностью. «Какая все-таки благодать вокруг! – в упоении думал я, наслаждаясь безмятежностью дня и спокойствием окружавшей меня простой и вечной красоты, – И зачем мне делать какой-то выбор?» Я поднял голову и долго смотрел на небо. Небо было голубым, почти синим, оно казалось распахнутым, глубоким и чрезвычайно прохладным. «Зачем мне знать свое прошлое, если за это знание нужно заплатить настоящим и будущим? – спрашивал я себя и в глубине души, не без удовольствия ощущал, что свой выбор я уже сделал, – Жить, просто жить! Ходить по этому чудесному миру и наслаждаться небом, птицами, деревьями, встречами с новыми людьми. Безмятежно засыпать с мыслью о том, что прожил прекрасный день и радостно просыпаться, зная,

что новый день будет не хуже дня вчерашнего. Да, это венец всех желаний!

Больше ничего и не нужно. Старик говорил, что я умер – пусть так. Какое мне теперь дело до всего, что не касается моего нынешнего счастья? Если Богу угодно было даровать мне дар забвения, а вместе с ним радость рая, то зачем же мне отказываться от этого?»

Размышляя обо всем этом, я, между тем, дошел до колодца. Цветущий персик снова привлек мое внимание своей нежной красотой и трепетной прозрачностью розовых лепестков на своих молодых ветках. «А не поспать ли мне под этим чудесным деревом?» – спросил я себя, чувствуя во всем теле призыв ко сну и какую-то, неведомо откуда взявшуюся, усталость. Я улегся под деревом, головой опершись на ствол, и замер от восхищения.

Случалось ли вам лежать под сенью цветущего персика? Сначала все кажется обычным: ствол, ветки, цветы... Но проходит время и иллюзия однообразной картинки производит перед вашими глазами удивительную метаморфозу. Все меняется, и вот вам уже кажется, что вы лежите под каким-то огромным, разлапистым древом жизни. Вы видите, как ветерок шевелит лепестки цветочков и вам кажется, что дерево дышит. Вы видите блеск коры на молоденьких веточках и начинаете ощущать, как через корни по стволу движутся молекулы воды. В конце концов ваши глаза слипаются, и вы погружаетесь в сладкую и упоительную дрему, на дне которой радужные сновидения, переплетаясь с персиковыми ветками, толкают ваше сознание в желанный и вязкий сон.

Не знаю, сколько я спал, но помню, что снилось мне что-то нежное и приятное, как будто флейты или сопилочки.

Когда я открыл глаза, то, неожиданно для себя, увидел рядом с собой сидящего и внимательно рассматривающего меня человека в черной рясе.

У этого человека было какое-то бескровное, ужасно бледное лицо, впрочем, с весьма ухоженной рыжей бородкой и такими же рыжими волосами, которые были перевязаны на затылке – пучком в хвост. Примечательной особенностью этого лица являлись по-рачьи выпуклые, светлые, водянистые, любопытные и колючие глаза.

«Глаза, как у паука!» – мелькнуло у меня в уме.

– Так ты и есть тот самый ангел? Я тебя несколько иначе представлял, – произнес человек с паучьими глазами, внезапно прерывая молчание.

«А, это наверно один из тех монахов, о которых говорил старик» – подумал я, совершенно не обращая никакого внимания на слова этого человека.

– На твоём месте я бы не очень праздновал и расслаблялся, – снова заговорил он, – ты слишком доверчив к словам этого выжившего из ума дедугана.

– Я что-то не пойму о чем вы...

– Я говорю о той ситуации, в которую ты попал, – довольно бесцеремонно перебил он меня, – неужели так трудно понять, что у тебя были отец и мать – не из воздуха же ты взялся?! Как можно жить, совершенно не интересуясь тем прошлым, из которого ты соткан? Может быть, у тебя были братья, друзья, жена которую ты любил, дети? И вместо того чтоб узнать об этом, ты, утешенный словами старого маразматика и убаюканный собственным неведением, спокойно спишь под деревом.

Незнакомец поднялся с земли и резкими движениями рук стал отряхивать пыль с полов рясы.

– Мне пора уходить, – сказал он, не глядя на меня, – книга, из которой ты все узнаешь, лежит у старика в доме. Я думаю, наш разговор останется между нами, не так ли?

Он взглянул мне прямо в глаза, затем приложил руку к груди, поклонился и, не сказав более ни слова, пошел прочь.

Некоторое время я смотрел на удаляющуюся фигуру этого монаха, пока мелькание черной рясы не исчезло за деревьями.

«И какое ему до меня дело?» – спросил я себя вслух. «Ах, да... мое прошлое! Я все забыл! Как же быть? Старик?! Монах говорил, что я не должен ему доверять. Почему? Почему тогда я должен верить этому монаху?»

И кому вообще я могу верить? Что же делать? Ах, да... книга! Книга в доме. Я должен все узнать». – Целый рой мыслей загудел в моей голове, не оставив от моей безмятежности и следа. Если бы в ту минуту я имел способность обобщать и анализировать явления причин и след-

ствий, то мне бы сразу стало понятно, что хаос, воцарившийся у меня в голове, был результатом посеянного в моем сердце сомнения и соблазна. Сеятелем же был человек в черной рясе.

Итак, нужно было что-то решать. Нужно было действовать, так как всякое промедление тяготило меня беспомощностью пассивных рассуждений, которые вызывали в моей голове жуткую сумятицу. Поэтому-то я решил пробраться в дом и прочесть книгу, о которой говорил монах. «Только бы старик не заметил», – подумал я, заранее представляя себе неловкость ситуации, которая могла бы возникнуть в том случае, если бы хозяин уличил меня в том, что я, без его ведома, шастаю у него в доме.

«Только бы не заметил, только бы не заметил» – шептал я про себя, идя по саду и прилежно высматривая, где бы мог находиться старик, намериваясь,

в случай чего, принять вид просто прогуливающегося человека. На свое счастье, я вдруг увидел старика стоящего в глубине сада. Он о чем-то оживленно разговаривал с тремя монахами, один из которых был моим давешним знакомым. Я был от них в двадцати шагах. Старик стоял ко мне спиной. «Хоть бы не обернулся» – мелькнула во мне, как молния, пугающая и явно греховная мысль. Он не обернулся, но в это же мгновение мне вдруг показалось, что тот самый, искусивший меня монах, подмигнул мне своим паучьим глазом. Я, отвернув голову, быстро пошел к дому. Нужно было торопиться. Подойдя к порогу, я воровски оглянулся: «Никто не видит?»

Вокруг было тихо и спокойно: также дул легкий и приятный ветерок, также светило солнце, также где-то ворковала горлица – только в груди моей напряженно и взволнованно стучало сердце. Я вошел в дом. Первая комната (прихожая) была пуста, и в ней ничего не было, кроме лежащей на полу циновки и стоящей под стенкой длинной скамейки. Дверь во вторую комнату была закрыта. Я легко нажал на дверную ручку, и дверь, издавши жалобный скрип, отворилась. Войдя в комнату, я сразу стал осматриваться. Комната была пуста и просторна; кроме стола, на котором стоял бронзовый семисвечник, и лежала книга и коробка спичек, и кроме стула стоящего перед столом, никакой мебели в комнате не было. Еще в комнате был какой-то удивительно приятный аромат: пахло то ли сандаловым деревом, то ли ладаном, и еще чем-то редким и непередаваемым. Ставни были открыты, и в комнате было довольно светло. Я прикрыл за собой дверь и подошел к столу. Книга, большая, старая, в каком-то древнем кожаном переплете, лежала передо мной и ждала своего читателя. Я сел на стул. На моем лбу, от волнения, выступил пот – мучительно захотелось, вдруг, ничего не читая, выбежать из комнаты прочь. «Нужно успокоиться и взять себя в руки», – подумал я и сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы унять сердцебиение. Но волнение мое не только не прекратилось, а еще более усилилось, усилилось каким-то внезапным чувством страха, который вдруг обрушился на меня, как снежная лавина. Кому в жизни случалось принимать роковые решения, равно как и тому, кому доводилось проходить по тонкому бревну через бездонную пропасть, хорошо будет понятно то чувство, которое я испытал тогда, когда смотрел на ту фатальную книгу. Нужно было на что-то решиться, но... не было сил. Я закрыл глаза и несколько минут сидел, пытаясь сосредоточиться и понять, чего же я все-таки хочу. «Может быть, у тебя были братья, друзья, жена которую ты любил, дети?» – вспомнил я слова человека в монашеской рясе. «Ну, что же... медлить больше нечего!» – проговорил я про себя с каким-то вызовом и открыл книгу. На первой странице толстым шрифтом и какой-то древней, вычурной вязью было написано:

Жизнь и грехи раба Божьего Андрея

«Что за ерунда?.. Как такое может быть?» – прошептал я себе под нос, чувствуя невероятное удивление. Дрожащей рукой я перевернул страницу. Дальше все было написано от руки – живым человеческим почерком. Я принялся читать:

«Мое полное имя Андрей Петрович Кольцов. На земле я прожил 32 года, 7 месяцев и 9 неполных дней. Первый свой грех я совершил в пятилетнем возрасте. Это было...».

Все заволочлось у меня перед глазами. Буквы и слова плавились и кружились передо мной, наполняя мое пустое сознание плотной горечью прошлого. Все померкло. Только огненные страницы книги светились ярким светом реальности, очерчивая в моей памяти те контуры и изгибы, которые волей проведения были преданы забвению. Не знаю, долго ли я читал, да и было ли это вообще чтением. Вся жизнь моя, со всей мелочной неповторимостью своих тончайших деталей, все события этой жизни, всё содержание моего прошлого, вплоть до мелких его фрагментов – всё воскресло передо мной. Как будто какая-то осепительно-яркая комета пронеслась у меня перед глазами, опалив сознание моё огнем познания добра и зла.

Я всё вспомнил

Жизнь моя была, если можно так выразиться, классической судьбой простого наркомана. Раннее детство свое описывать не стану, ибо оно представляет собой до того нечто непонятное, что это и передать толком невозможно, впрочем, мне кажется, что и тогда я был не вполне невинным ребенком. Вообще-то, детскую невинность, по-моему, преувеличивают. Может быть, это первородный грех, передающийся от ауры к ауре, может быть, прошедший через гены половой инстинкт, – не знаю, впрочем, что, – но, есть нечто такое, что открывает детям глубины греха и порока. Дети многое знают и понимают, иногда даже и делают, только в отличие от взрослых у детей все происходит от желания познать внешний мир, а не от развращенности. Многие свои детские грехи я сделал случайно. Когда же я стал старше, «случайное» уступило место похоти эгоизма. Я воровал все что можно и где только можно, дрался при любом подворачивающемся случае, курил с приятелями с лукавым озорством собранные недокурки. Мы тогда были детьми, однако же, не смотря на это, наши детские игры напоминали иногда быт жителей Содома и Гоморры. Да это все было и было в сердцах двенадцатилетних ребят. Когда же я стал чуть старше то, естественно, расширил грани своего падения: вино, марихуана, клей и таблетки, – стандартный список средств через который можно получить кайф, – и это все в руках зеленого подростка. В то время я до умоисступления мечтал о женщинах, но возможности обладать женщиной у меня, конечно же, не было, и я предавался тому пороку, который обычно распространен в подобных случаях. Школу я закончил с грехом пополам – к тому времени я уже подсел на иглу. Игла всегда требует денег и поэтому всякий наркоман, как правило, вор. Я тоже не был исключением, и за это в девятнадцать лет попал в тюрьму.

Тюрьма не сделала меня лучше, хотя, сидя в тюрьме, я дал себе слово, что с выходом на свободу начну новую жизнь. Этому благородному намерению так и не суждено было осуществиться – игла снова засосала меня. Потом был второй срок – тоже за воровство. Отсидев вторично, я вышел на волю, имея на себе, кроме пережитого горького опыта, еще и подхваченную в тюрьме болезнь. У меня был туберкулез. Нужно было лечиться, но мне этого не хотелось. Не хотелось же мне этого потому, что я тогда просто озлился – озлился на себя и на весь мир. Я прекрасно понимал, что если я брошу весла и поплыву по течению, то проплаваю года два, максимум три.

«Ну и черт с ним! – думал я со злостью. – Быстрее подохну, лучше будет».

В это же время я для себя, по-настоящему, открыл водку. Водка мирила меня с миром. Водка делала из меня пьяного философа и смиренного агнца, но за это я должен был сурово расплачиваться. Буквально за два года из меня получился заправский алкоголик. Родные

от меня отвернулись, и я очутился просто на улице. С моей болезнью долго существовать под открытым небом я не мог: так оно в конечном счете и вышло – я не пережил и одной зимы.

Смерть моя была обычна до наивности. Я помню, что было холодно... очень холодно. Уже месяц я кашлял кровью, но за последнюю неделю крови стало отхаркиваться все больше и больше – очевидно болезнь обострилась и, приняв скоротечный характер, вошла в свою последнюю стадию. Я чувствовал это еще и потому, что ощущал во всем теле пылающий жар.

В эти последние дни мне как-то не везло: подвал, в котором я ночевал, – закрыли; поэтому предпоследнюю ночь я пережил на улице, а последнюю коротал в каком-то подъезде. О, эта последняя ночь была подлинным кошмаром. Меня всё время бил озноб; я чувствовал, будто в груди моей торчит раскаленный прут железа и мешает мне дышать – очевидно к туберкулезу подключилась простуда. Мучительно хотелось кашлять. Однако, кашлять так, как обычно кашляют люди, мне было нельзя, так как в подъезде, по причине ночной тишины, была хорошая слышимость, и я мог бы привлечь к себе внимание кого-нибудь из добропорядочных жителей квартир, и меня бы выгнали на улицу, словно шелудивую собачонку. Идти на улицу в таком состоянии мне мучительно не хотелось, поэтому я себя кое-как сдерживал, пытаюсь, по возможности, откашливаться как можно тише и как можно реже. В голове моей, временами, всё мутилось, я несколько раз засыпал, впрочем, ненадолго, и всякий раз просыпался, дрожа от холода. Временами я бредил и не мог понять, где я нахожусь. Мне казалось, что этот серый подъезд и лестница, на которой я сижу, и раздражавшая меня своим желтым светом лампочка – никогда не закончатся и вечно будут моим проклятием. Под утро мне приснился сон. Мне снилось, что я лежу привязанный к кровати в какой-то ужасной и мрачной комнате с серым низким потолком и со стенами в желтых обоях – весьма, впрочем, дрянных, во многих местах засаленных и пузырящихся отставанием от стен. В комнате, кроме меня, находился еще какой-то человек со строгим и каким-то чистоплотным выражением лица, одетый так же, как одевались Петербургские франты девятнадцатого века Пушкинской эпохи: перчатки, жилет, фрак и т. д. и т. п. Господин этот стоял возле меня и скручивал в руках своих черный упругий кабель, которым обычно пользуются при подключении телевизионных антенн. Понимая, что он сейчас будет меня бить, я начинаю совершенно по-детски молить его о пощаде: «Папочка прости! Папочка не надо!.. Я больше не буду!» – прошу я его изо всех сил, пытаюсь достучаться к его доброте. «Я тебе, гаденыш, покажу папочку!!! – кричит он на меня, – ты тварь, ты вонючий выродок! О, если бы ты знал, как я тебя ненавижу! Я буду бить тебя до тех пор, пока не устану; а потом я возьму раскаленный утюг и буду жечь тебя им, покамест ты не подохнешь!» Я лежу и буквально задыхаюсь от страха. Меня сотрясает лихорадочная дрожь. В этот момент в комнату входит нагая и ослепительно красивая женщина. «Успокойся дорогой, – обращается она к злому господину, – выйди на минутку, я с ним сама разберусь». Видимо эта женщина имеет над этим маньяком неограниченную власть. Он без возражений выходит из комнаты, не забыв, однако же, с ненавистью посмотреть на меня. Женщина подходит ко мне, наклоняется к моему лицу и начинает меня целовать. Наши языки встречаются, все тонет в блаженстве, но вдруг... я ощущаю, как её язык начинает залазить мне в горло. Она отстраняет от меня свое лицо, и я с ужасом вижу, как из её рта выползает черная толстая змея, голова которой уже находится у меня в глотке. Я задыхаюсь, пытаюсь вырваться, но ничего не могу сделать. В порыве отчаянья я изо всех сил стискиваю зубы, чтобы перекусить эту гадину, и просыпаюсь.

Тусклый свет просачивается на лестничную площадку сквозь маленькое окошко. Наступило утро. Последнее утро моей земной жизни.

Шатаясь от слабости, я вышел из подъезда. Идти мне было некуда, но мне надо было пройти, чтобы разогреть окоченевшие за ночь члены. Дул холодный ветер. Небо было серым и безрадостным. Все вокруг казалось мне мрачным, холодным и унылым. Прохожих почти не было – так, два-три человека, у одного из которых я стрельнул сигарету. К моему удивлению

мне не отказали. Курить на ходу мне не хотелось, к тому же я невероятно ослабел, так, что едва держался на ногах. «Нужно где-то присесть», – подумал я и стал оглядываться по сторонам, в надежде увидеть по близости скамейку. «Черт бы побрал эту жизнь! Скамейки, когда надо, не найдешь!..», – воскликнул я в сердцах и грубо выругался. Тут мое внимание привлекла одна подворотня – в сущности это был проход во дворы между двумя многоэтажными домами. «Зайти туда что ли? Там и ветер не так дует», – проговорил я вслух и медленно побрёл к подворотне, с трудом преодолевая слабость. Мне не суждено было туда дойти: мучительный приступ кашля остановил меня на полдороги. Я стоял и, содрогаясь от мук, отхаркивал на белый снег свою тёплую кровь. Вдруг что-то взорвалось у меня внутри и загудело во всем теле едкой, жгучей болью – это смерть коснулась меня своим грозным перстом, и от этого прикосновения я полетел в снег с разорванным сердцем, сжимая в грязной руке своей так и не выкуренную сигарету.

* * *

«Да... это было именно так!..» – прошептал я и оглядел непонимающим взглядом комнату. Книга, время, жизнь, смерть, да и я сам – всё потеряло свои границы и, вместе с тем, приобрело какое-то другое, более понятное значение. Я всё вспомнил и всё понял. Ничего неясного для меня не осталось. Один только вопрос занимал меня теперь больше всего остального: как теперь жить и что же теперь делать? «Нужно поговорить со стариком». – Подумал я и встал из-за стола. Здесь мое внимание привлекла коробка спичек, лежавшая на столе возле подсвечника. «Пригодятся». – С наивной наглостью подумал я и, всунув спички в карман, вышел из комнаты.

«Что за ерунда!.. черт!.. этого не может быть!» – были мои первые слова после того, как я вышел из дома на двор. Вместо тенистого фруктового сада передо мной лежала и тянулась в необозримую даль раскалённая песчаная пустыня. Вместо земли с сочной травой у меня под ногами был сухой желтый песок. Я оглянулся назад и с ужасом увидел, что дом исчез так же, как и сад. Вокруг меня не было ни чего, кроме бесконечной вереницы тянущихся, гряды за грядой, барханов. Только на небе, как и прежде, не было ни облачка, и все так же ярко светило ослепительное солнце.

Ужас и страх охватили меня. Я начал кричать и звать на помощь. Со мной произошла истерика. Я бегал из стороны в сторону; я взбирался на песчаные барханы, в надежде с их высоты увидеть привычную для меня живую и полную растительности землю. Но все было тщетно. Пустыня неумолимой правдой расстилалась у меня под ногами.

«Кто знает, какова эта пустыня и можно ли из неё выбраться?» – Спросил я себя после того, как основная волна паники прошла, и я вновь обрел хоть какую-то способность кое-как соображать. «А вдруг я не выберусь и умру от безводья?» – Тут же мелькнула во мне нелепая мысль, снова возвращая меня в прежнее безумно истерическое состояние. Я сел на горячий песок и принялся напряженно обдумывать сложившуюся ситуацию. Вариантов спасения было мало. Единственным выходом из этого весьма неприятного положения, было идти, куда глаза глядят, с надеждой, что повезет добраться к воде, либо к человеческому жилью, либо набрести на караван. Потратив немало времени на эти размышления и решив, что больше думать нечего, я встал и, преодолевая сыпучую вязкость раскаленного песка, побрел на север.

Так как все мои мысли были направлены на одну цель – физическое спасение, то, естественно, мной было не принято никакой попытки, шаг за шагом рассмотреть ретроспективу моего столь необычного попадания в эту, неизвестно откуда взявшуюся и загадочную, пустыню. Это была ужасная ошибка, за которую я впоследствии заплатил многими страданиями.

Итак, я шел, шел по песку. Шел вооруженный всего лишь крохотной надеждой на спасение и жалкими остатками мужества. После нескольких, как мне показалось, часов пути, силы

мои стали иссякать. Немилосердно палящее солнце, разрезав небосвод на пополам, стало клониться к закату. Мучительно хотелось пить. «Все, хватит! Привал, – сказал я самому себе, – нужно отдохнуть и отдышаться».

Жажда была дикой. Я лег на песок, стараясь не думать о воде. «Подожду до вечера, пока солнце сядет, а там снова пойду», – рассуждал я про себя, тщетно пытаясь не думать о мучавшей меня жажде. «Выберусь, не может такого быть, чтоб я не выбрался», – утешал я себя. «Ну, а что если не получится? – прошептал во мне какой-то тихий и зловещий голос, – что если эта пустыня окажется непреодолимой?»

– О, Господи, неужели я здесь умру?! – воскликнул я вслух.

«Как же я могу умереть, если я уже умер? Может быть, я не умер? Что же это? Сон? Неужели всё это мне снится?» Эти вопросы облепили мое растрепанное сознание, словно назойливая мошкара. Внезапно в моей голове, ослепительной молнией, сверкнула ужасная мысль: «Что если это ад?» Предположение было настолько пугающим и неожиданным, что я, от волнения, вскочил на ноги и, нарушая громким голосом безмолвие пустыни, заговорил вслух:

– Как же я сразу об этом не подумал?! Мне же старик еще тогда говорил, что будут мучения!!! Что же это я?..

«Да, эта пустыня... ведь это ад! – продолжал думать я, все более и более уверяясь в правильности своих рассуждений. – Это кара, кара мне за мои грехи – и это несомненно! Неужели мои грехи столь велики, что меня за них надобно было кинуть в эту страшную пустыню? Неужели я такой страшный грешник? Что, что я сделал не так? Я жил, жил как все – так действительно многие живут! А теперь оказывается, что мне одна дорога – в ад! Не верю! Этого не может быть! Но ведь это есть. О, Боже!!! Ведь вот я, придавленный неотразимой логикой факта, сижу в какой-то безлюдной пустыне и, испытывая жажду, пересыпаю песок из руки в руку. Это правда, неумолимая правда, но... но ведь это ужасно! Должна же быть какая-то причина, в конце концов?!» Неожиданно для меня, во мне вдруг заговорило что-то другое, может быть, это был голос проснувшейся совести. «Причина? Ты ищешь причину? – говорил этот голос, – разве то, что ты всю жизнь прожил как скот, и не чем иным, кроме своего скотства, не интересовался, разве это не достаточная причина? Сделал ли ты хотя бы кому-то что-то доброе?» Не успела эта мысль должным образом обрисоваться у меня в сознании, как во мне уже вспыхнула лютая и бешеная ярость. Я заметался, как раненый и разъяренный тигр, оглашая немую окрестность бранью и сбивчивыми восклицаниями. «Пошли вы все вон!!! Я вас знаю!!! – кричал я кому-то, – вы хотите навесить мне на шею вечное покаяние и унижение?!! Какие вы, дескать, все хорошие, и какой я, дескать, плохой?!! Твари!!! Мрази!!! Не хочу, не хочу!..» Я упал на песок и обхватил голову руками, до скрежета стискивая зубы. Время от времени из уст моих вылетали, разряжая воздух, грубые ругательства. Прележал я на песке довольно долго; так долго, что когда я открыл глаза, на землю уже опустились сумерки.

Дневной жар разбавился вечерней прохладой и на темнеющем небе показались первые звезды. Жажда моя почему-то прошла, но нестерпимо разболелась голова. Сетуя на свою судьбу и периодически поругивая головную боль, я еще некоторое время бодрствовал, в муках ворочаясь на теплом песке, покамест не забылся сном.

Проснулся я с первыми лучами солнца. Надобно сказать, что за ночь, от моего вчерашнего отчаянья не осталось и следа – сон великий лекарь. Я ощущал в себе бодрость и подъём духа, а вместе с этим чувствовал в сердце воскрешение оптимистических надежд. Я решил, что буду идти до тех пор, пока не выберусь с этой дьявольской пустыни. Мысленно пожелав себе удачи, я, веруя в своё упование, отправился в путь, придерживаясь того направления, по которому я шел вчера.

Несколько первых часов ходьбы доставили мне, к моему удивлению, даже некоторое удовольствие. Но ближе к полудню, когда поднялось палящее солнце, я уже шел и ели-ели переставлял ноги, проклиная при этом весь свет. Две жажды мучили меня: первая физическая – мучительно хотелось пить; вторая – духовная: видения былого разврата прямо и безоговорочно указывали мне на то, что я ничтожество и негодяй. Неизвестно какая из этих двух мук была сильнее. И в самом деле: кто я тогда был? Без дня, как бывший алкоголик и бомж, слепой вор и слабый духом наркоман. И это не смотря на то, что половина моих пороков была лишь следствием раннего желания наслаждаться жизнью, что присуще весьма многим и поэтому почти всегда удовлетворяется, только у одних так, а у других иначе. И хотя раскаянья во мне в то время не наблюдалось, но страдания, естественно, присутствовали, так как, рано или поздно, приходится пожинать плоды своего посева. Но понимал ли я тогда, хотя бы что-то в этих страданиях? О, да... впрочем, очень немного.

Наступил вечер. Я с потрескавшимися от жажды губами, как мертвый, валялся на песке. Солнце, не спеша, закатывалось за горизонт и весело напоминало, что завтра повторится то же самое, что и сегодня. И вот, в этом вечернем пустынном безмолвии возник звук человеческого голоса, а еще через мгновение я явственно услышал, неведь-откуда взявшийся, таинственный гортанный напев. Я вскочил на ноги, как ужаленный. Кто? Где? Откуда? Возбравшись на бархан, я увидел, в шагах пятидесяти от себя, ехавшего на верблюде бедуина в черных одеждах и с белым покрывалом на голове. Собравши последние силы, я крикнул и потерял сознание.

Когда я очнулся, на мир уже опустилась ночь, и я, не без удовольствия заметил, что лежу у горящего костра. Тут же у огня, на маленьком коврикe, сидел и курил кальянчик мой случайный знакомый – «бедуин». Вблизи он выглядел гораздо старше и как-то суровей, чем это мне показалось с первого взгляда: смуглое и сухое лицо (однако с крупными чертами), борода с сильнейшей проседью, мудрый, но какой-то властный и строгий, взгляд черных, как ночь, глаз. Все это произвело на меня среди ночи жутковатое впечатление.

– Добрая ночь, хвала Аллаху милостивейшему и милосердному! – произнес старый бедуин и так приветливо улыбнулся, что у меня с сердца сразу свалилось все недоверие.

После непродолжительного молчания он снова обратился ко мне:

- Скажи мне, незнакомец, как зовут тебя и какое имя у породившего тебя отца?
- Отца звали Петром, а меня в честь деда называли Андреем, – просто ответил я.
- О!.. какие славные имена. Двух братьев, учеников Исы, тоже звали Петром и Андреем.

Высказав этот незамысловатый комплимент по поводу имён, он вдруг замолчал, потом, как бы спохватившись, протянул мне трубку от кальяна и коротко спросил:

– Покуришь?

Я, молча, взял трубку и глубоко затянулся

– Кхе-кхе-кхе... о, черт... кхе-кхе, – тяжелая волна дыма сдавила мне легкие и вырвалась наружу едким кашлем.

– Это что план? – спросил я после того, как откашлялся.

Бедуин посмотрел на меня улыбаясь и, подавляя смех, сказал:

– Это алжирский табак, смешанный с гашишем. Что крепкий? Это с непривычки... ты мне лучше вот что скажи: как ты попал в эту пустыню?

Я, сделав еще несколько осторожных затяжек, передал ему трубку и уклончиво ответил:
– Да так, было дело... а ты здесь как очутился?

Старый бедуин строго и предосудительно покачал головой, при этом не сводя с моего лица своего тяжелого и какого-то странного, глубокого и мудрого взгляда.

– Я здесь потому, что меня к тебе послали, – сквозь зубы, и как бы нехотя, процедил он, – а ты попал сюда из-за того, что ты плохой человек.

Воздух расколола тишина.

– Плохой ты не потому, – продолжал он, – что любишь только себя, ибо всякий любит себя. Плохой ты оттого, что никогда не мог уважать хоть кого-нибудь хотя бы на маленькую капельку больше чем себя. Ты всю жизнь лжешь. При этом в сущности-то, ведь и не обманываешь никого – никого, кроме себя. Выходит, что ты к тому же еще и глуп. Не обижайся, а радуйся – ведь я говорю тебе правду. Впрочем, на стариков не обижаются, а я очень, очень старый человек.

Всю эту тираду он проговорил тихо и спокойно. Меня как огнем обожгло. Я вскочил на ноги и, с нахрапистостью дважды судимого человека, закричал:

– Да что ты знаешь о моей жизни?!! Может, ты мне сейчас пояснять начнешь – почему в Одесе рубероид?!! А?!! Что ты смотришь?!!

Я остановился. Старик откинул полу своего халата, спокойно взялся за рукоять висевшей у него на боку сабли и тихо сказал:

– Перестань кричать и махать руками, – я терпеть не могу непочтительности.

– Ты что пугать меня вздумал?! – закричал я форсируя голос, чтобы не упасть в грязь лицом.

Тут произошло нечто для меня неожиданное: рука старика, как вспышка света, взлетела вверх, сжимая в смуглом кулаке острое мерцание стального клинка, который, издав резкий свист, ударил меня по руке.

– Сказано не кричи, значит не кричи, – сказал старик, всаживая саблю в ножны.

В начале я ничего не понял, я только услышал звук чего-то шлепнувшегося у меня возле ног. Я посмотрел на землю и увидел на песке, неподалеку от костра, свою левую руку, отсечённую чуть выше локтя. В следующее мгновение я почувствовал острую и цепкую боль, а вместе с ней и некое осознание происшедшего.

– Ты отрубил мне руку! – прошептал я непослушными губами, кстати сказать, от моего пыла и пафоса не осталось и следа.

– Ты дерзко вел себя, поэтому тебя следовало наказать, а теперь молчи и не двигайся.

То, что произошло дальше было до того нелепым, абсурдным и фантастическим, что иначе как сном душевно больного это и не назовешь.

Старик неожиданно встал, поднял мою отрубленную руку и, сдувши с неё песок, приставил её назад к отрубленному месту. Затем он стал бормотать себе под нос какие-то непонятные слова, после чего несколько раз с силой хлопнул меня по предплечью и сказал:

– Будем считать, что нечего не было.

Я стоял, раздавленный вескостью чуда. Смотрел на свою сросшуюся руку, смотрел на этого то ли человека, то ли полубога и чувствовал, как к горлу подступает комок глубочайшей обиды, который состоял из справедливого взгляда на любого человека в первую очередь, как на человека, а не как взгляда на кусок презренного мяса, с которым можно делать все что угодно. В следующее минуту я уже сидел на песке и, обхватив голову руками, горько плакал. Это длилось довольно долго.

Он сидел и ждал, пока я выплачусь, а затем мягко произнес:

– Ничего не поделаешь, сынок, – жизнь вообще сложна, а зачастую горька и кручиниста.

– А у тебя что, была тяжелая жизнь? – спросил я, утирая с лица последние остатки слёз.

– Эх, сынок, жизнь моя, может быть, и была бы легкой, – да судьбой Аллах наградил непростой; да и время было тяжелое.

Он замолчал и надолго задумался.

– Может, расскажешь? – робко спросил я.

– Рассказать? Да и рассказывать почти нечего – остались одни обрывки воспоминаний. Впрочем, если тебе интересно, то я могу рассказать.

Он немного помолчал и начал свой рассказ.

«При рождении моем, мне дали имя Магомед; а родился я в 570-ом году в городе Мекка, – это область Хиджаз в западной части Аравийского полуострова. В то время в тех местах царил хаос племенной разобщенности. Все мы были арабы, но каждый арабский род, хотя бы и самый захудалый, имел своих патриархов и старейшин и считал за необходимое, поклоняться своим собственным богам. Богов было – пруд пруди! К тому же, среди арабов язычников жило немало христиан, иудеев и зороастрийцев. По крови я принадлежал к самому могущественному мекканскому племени – племени курейшитов. К этому должно прибавить то, что род Хашим, из коего я происходил, занимал исключительное место не только в мекканском обществе, но и среди самих курейшитов. Хашим всегда были хранителями ключей от древнего (тогда еще языческого) храма Каабы. Курейшитская знать владела в Мекке всем: торговыми делами, ремесленничеством, рабами и караванной торговлей. Так что по сути, знатные курейшиты держали в своих руках все нити земной власти, даже власть религиозная и та принадлежала курейшитскому роду Хашим. Родиться в Мекке курейшитом, да ещё в столь почтенном роду, означало родиться полубогом. Однако... однако, Творцу было угодно даровать мне раннее сиротство. Эх, сынок, знаешь ли ты, кто такие сироты? Сироты, это никому не нужные вышвырки, которые ищут к кому бы им прислониться, но от которых всякий старается оградиться, словно от проказы. Горько быть сиротой.

Не смотря на то, что родня моя была многочисленна, я был почти никому не нужен. Я очень рано понял, что «я есть» – это мой статус, и кроме этого у меня ничего нет. Также я понял, что все в этой жизни надо будет делать самому. Это были ценные знания – один Аллах знает, сколькими слезами и какой детской обидой я за них заплатил. Один из моих предприимчивых дядьёв, решив, что мальчику, как будущему мужчине, надлежит воспитываться в суровых условиях, отдал меня в пятилетнем возрасте к пастухам. Представляешь ли ты, что такое быть пастухом? Дождь, зной, ветер, непогода, – а ты должен ходить за стадом. Вот говорят «детство»...гм... так у меня его почти не было – разве что мечты и сны. Одну свою мечту и сопряженный с ней сон помню до сих пор. Мечта была по-детски нелепа, однако, нечто мистическое и пророческое в ней было. Представлялось мне в то время, до умоисступления, будто бы я становлюсь великим волшебником, которому подвластно любое чудо. Мечта, конечно, не правдоподобная, но прокручивал я её в голове множество раз, принаравливая

всякий раз на тот или иной лад, так, что один раз мне даже сон приснился. Во сне какой-то красивый, светозарный ангел ласково мне прошептал, что моя мечта сбудется. Но сны снами, а действительность была сопряжена с трудностями. Впрочем, в пятнадцать лет рок мне по-настоящему улыбнулся. Один из моих соотечичей и родственников взял меня, не смотря на мой юный возраст (хотя я был не по годам сметлив и отнюдь не робкого десятка) приказчиком при сопровождении торговых караванов. Дело мне нравилось, хотя требовало рачительности и выносливости. Нравилось не только тем, что упрочивало толщину моего кошелька, – что было тоже не маловажно, – но нравилось еще и тем, что давало возможность увидеть мир и вкусить приключений, да и в работе свои тонкости имелись. Приказчик слово звучное, а что за этим стоит – вот вопрос. Верблюдов вовремя напои, стоянки рассчитай, за людьми следи – чтобы все сыты были и чтобы, боже упаси, никто ничего не стянул. А товар? Продай, обменяй, купи, деньги хозяину в целости привези, когда пустыня вокруг разбойниками кишит – целая наука! Зато уж и поносило меня по белу свету: Ясриб, Йемен, Сирия, Иран, Иерусалим, Индия – где только я не был! Однажды, на пути к Дамаску, когда наш караван проезжал через одну Сирийскую пустыню, которая на местном наречии называлась Халиван (что означает «раскаленная печь»), со мной произошел удивительный случай, сильно содрогнувший моё сознание. Дело было в том, что один из мною нанятых проводников (житель тех мест) рассказал мне о некоем христианском отшельнике, который жил в этой пустыне в какой-то горной пещере, и которого местные туземцы почитали за святого. От этого рассказа природное любопытство мое сильно разгорелось, и я упросил проводника провести меня к тем пещерам, в которых жил этот святой. Сей христианский подвижник жил действительно уединённо, и нам понадобилось немало времени для того, чтобы его разыскать.

Вообще-то в моей памяти мало сохранилось воспоминаний из тех лет, особенно, что касается человеческих лиц; но глаза этого аскета, бросившего ради Христа весь мир, я помню и сейчас. Два пылавших огнем угля – вот что было у него вместо глаз. Когда я зашел к нему в пещеру, он долго смотрел на меня, а затем тихо проговорил: «уходи». Когда же я, путаясь в словах, попытался объяснить ему цель своего посещения, он, отстранившись от меня рукой, снова тихо произнес: «уходи». Я, чувствуя стыд и неловкость, поплелся к выходу. «Стой!» – вдруг раздалось у меня за спиной. Я обернулся. «Ты станешь Великим Пророком, – сказал он мне, – ты объединишь свой народ и покажешь всем пути Творца. Много лет назад, мне было ведение от Господа. В видении я видел тебя, и тут же слышал голос, который сказал мне, что умру я на следующий день после того, как наяву увижу лик Великого Пророка. А теперь уходи... у меня осталось мало времени... нужно успеть подготовиться к встрече».

Надобно сказать, что слова отшельника, хотя и всколыхнули мое самолюбие, хотя и запали на много лет мне в душу, однако же, особого вдохновения во мне не вызвали. И дело было не в том, что мне было всего 23 года, в этом отношении я был как раз из тех людей, которые рано задумываются над мироустройством явлений. Дело было в том, что слишком уж сложна была та действительность, в которой я жил.

«Объединить свой народ» – это была мечта столь обетованная, сколь и безумная. Объединить народ, который имел в храме Каабы около трехсот шестидесяти изображений своих родовых божеств, так, что на каждый день приходилось празднование какого-нибудь племенного бога; объединить народ, который был раздираем родовой враждой, кровавой местью и волчьими интересами жадной знати; объединить народ, состоящий из оседлых горожан, которые жили в своих городках и презирали кочевников, и объединить с горожанами тех кочевников, которые кочевали с места на место и частенько грабили и презирали оседлых горожан; и при этом объединить мне – скитающемуся по свету безвестному сироте?! Да!.. эта мечта была поистине нелепа. Но еще более нелепой была мечта стать Великим Пророком. Я видел жизнь. Я изъездил Аравию вдоль и поперек. Скажу честно: мне довелось перевидать немалое число пророков и пророчиц. Да что тут говорить – те времена просто-таки кишели пророками.

В Йемене был пророк Маслама; в Йемене проповедовал пророк Асвад, которому даже удалось, хотя и ненадолго, захватить тамошнюю власть в свои руки, но вскоре его убили; на севере в Джазире, я видел пророчицу Саджах из племени темимитов; еще был пророк Тулейха; еще... да что там говорить – под каждым кустом верблюжьей колючки можно было найти пророка! Они появлялись перед людьми с закрытыми лицами, закутавшись с ног до головы в одежду; они кричали что-то маловразумительное, вертелись на месте и впадали в транс. Обычно они вызывали равнодушие, нередко смех – только легковёрный мог им верить. Так что предсказанное мне отшельником пророческое будущее, не очень-то меня и тешило. Да и, по совести сказать, другое меня занимало тогда, другим была полна моя душа.

О!.. незабвенное время!!! Время радужных грёз и волнующих душу предвкушений. Тогда... тогда я встретил её, и всё средоточие моего существа устремилось к ней точно так же, как устремляется ночная мошкара к горящему в темноте пламени. Её звали Хадиджа. Красота её была невероятной. Жила она в Мекке и свободно пользовалась положением овдовевшей супруги одного зажиточного тамошнего купца, который, не в обиду ему будет сказано, не сумел оставить о себе, в сердце жены своей, благоговейно чтимых воспоминаний об образе своём, ибо был человеком скарёдным и суровым. Может быть, от этого, а, быть может, и от того, что у неё не было детей, – глаза её всегда излучали свет какой-то тихой и кроткой печали. Судьба столкнула нас случайно и навсегда. Мы сразу стали с ней близки духовно, наверное, из-за того, что она, как и я, была сиротой. В скором времени она вышла за меня замуж. Должен тебе сказать, что из всех благ, дарованных человеку Аллахом, ничто не сравнится с благом иметь хорошую жену. Хадиджа в этом отношении была настоящим чудом. Она любила меня беззаветно, причем сразу двумя видами любви: любовью женщины и любовью сестры. Она родила мне 7 детей. Ни разу в жизни она не попрекнула меня своим богатством, хотя я, как это и положено мужчине, стал заведовать всеми делами. Мы никогда не ссорились и не ругались – она чтילה меня, а я чтил её.

Всё было бы хорошо, не смотря на мелкие мимобежные житейские трудности, но мысли, которые слагались в длинные ряды определенных вопросов, буквально-таки заедали меня. Сумятица в моей голове имела свои причины. Одной из таких причин были ханифы. Ханифы были явлением в тогдашнем обществе. Это были духовные бродяги (в смысле свободного искажения истины), хотя многие из них в самом деле являлись обыкновенными базарными пройдохами и попрошайками. Всякий род деятельности, кроме созерцания и обсуждения своих созерцаний, был чужд ханифам. Они, собственно, не очень-то и скрывали своё презрение ко всем прочим людям не их касты. Так, какой-нибудь ханиф, нередко облачённый в жалкое рубище, умудрившись каким-то только им ведомым даром, собрать вокруг себя на базарной площади толпу людей, держал себя перед этой толпой словно падишах. Сила ханифов была в пленительной мысли, которая в сонме языческого хаоса предвкушала и предугадывала появление единобожия. Конечно, всё что они говорили было зыбко и путано, но это было похоже на свежий ветер в комнате с затхлым воздухом. Я много с ними беседовал и частенько спорил. Нередко мне удавалось разбивать их в пух и прах, но иногда я и сам бывал бит, особенно если вступал в спор с каким-нибудь ханифом из «стариков». Если же говорить по существу, то в идеях ханифов не было, лично для меня, ничего необычного, ибо я рос сиротой и не был привязан ни к какой родовой религии. Естественно, это повлияло на моё мировоззрение. В Бога я веровал и часто молился ему (по-своему конечно), и в моём восприятии Творец всегда был один – это я помню за собой даже из самого раннего детства. Еще помню за собой качество искать уединения, особенно тогда, когда на душе бывало нелегко. Не знаю, как у кого, а у меня иные раздумья способны доходить почти до телесных мучений. Бывали такие дни, в которые муки душевных терзаний требовали особенной сосредоточенности. Тогда я бросал всё – жену, детей, дела – и уходил на гору Хира, которая находилась в окрестностях Мекки, чтобы там, в тишине целомудренного одиночества, найти в глубине себя ответ на мучавшие вопросы.

Один Аллах знает, через какие бездны приходилось прыгать моему сознанию, чтоб уразуметь глубину границ иных понятий. Да, этого рассказать нельзя. Кто ведает, сколько стоит иная слеза вдохновенья, вкушенная от радости увиденной, за дальними далями человеческих пред-рассудков, светлой, как тысяча солнц, истины чистого бытия одной из граней нашего бесконечного Творца?

Да... может быть, я и прожил бы так всю жизнь: воспитывая детей, зарабатывая на хлеб и временами размышляя о Господе, но Ему было угодно даровать мне в середине жизни иное поприще. В то время мне едва минуло 40 лет. И вот, один день перевернул всю мою жизнь точно так же, как сильный ветер пустыни подхватывает и переворачивает в объятьях своих сухой пальмовый лист.

По-своему обыкновению, я, еще с вечера ушедши в горы, проводил тот памятный для меня день один. Красный диск солнца показался над полусонным горизонтом, и вместе с ним, в сознании моём, истасканном мутным бредом ночного бодрствования, поднялось из глубин бесконечной души моей и предстало пред моим духовным взором видение Архангела Джебраила. Я услышал голос: «Иди и скажи!» Но, что я мог сказать? Через некоторое время видение повторилось. Я, плача и надрываясь от душевных мук, вскрикнул: «Я слабый человек, ничего не знающий человек... что я могу?.. пророчествовать?.. так я же и говорить не умею!!!» И вдруг сделалась вокруг великая тишина – прежде всего во мне самом. И среди этой тишины я впервые услышал обращенную к человечеству суру Корана: «Читай! Во имя Господа твоего, который сотворил человека из сгустка. Читай! И Господь твой щедрейший научил каламом, научил человека тому, чего он не знал».

После видения в душе у меня были странные чувства. Во-первых, я ощущал какую-то гнетущую опустошенность и острую, как лезвие дамасского клинка, муку одиночества – я чувствовал, что нечто святое и прекрасное оставило меня, а там, где оно только что было, зияла расселина колючей и равнодушной ко мне действительности. Во-вторых, в сердце моём, нарушая временную текучесть страданий, разгоралась заря новых ожиданий: я увидел волю Бога и понял – её надо исполнить. Другого пути теперь для меня быть не могло. Ещё вчера я был обычным человеком – сегодня же я стал Пророком.

Первым слушателем благой вести была Хадиджа – она сразу, и без единого сомнения, поверила мне. Да и вообще, все мои домочадцы и близкие как-то вдруг мне поверили. Это придало мне больше уверенности и стало началом моей пророческой деятельности. Я понимал, что, рано или поздно, мне суждено будет выйти со своей верой к мекканскому обществу. Выйти смело и открыто. Выйти и, не таясь, сказать: «Нет Бога, кроме Аллаха». Всё это я хорошо понимал и поэтому, не спеша, накапливал силу в домашней проповеди. Кстати, видения снова вернулись ко мне и уже не покидали меня до конца жизни.

Время, друг мой, летит быстро: не успевает юноша оглянуться, как он уже стал согбенным старцем. Так же быстро протекли три года моей домашней проповеди. Откладывать больше было нечего – нужно было явить учение Аллаха всему народу. О, я помню те горячие дни! Сначала я выступил перед жрецами и старейшинами, потом у врат Каабы, потом на базарной площади. И что ты думаешь? Для них всё было безразлично! Они кивали мне своими головами и доброжелательно улыбались, но сквозь их улыбки просвечивалось либо полное равнодушие, либо абсолютное непонимание. А как я говорил?! Клянусь тебе, сам Аллах говорил моими устами!!!

«Только на Аллахе лежит прямой путь, только Аллаху принадлежит жизнь последняя и первая, и к Господу твоему – возвращение после смерти! Так поклонитесь же Господу, который кормит вас. Возвеличьте имя Аллаха, и Аллах возвеличит вас. И одежды свои очистите, и скверны бегите, и не оказывайте милость, стремясь к большему. Я не одержимый, я

видел Бога на ясном горизонте и поэтому моя проповедь только увещание миру. Посмотрите на себя! Куда вы идёте?! Увлекла вас страсть к умножению, пока не навестили вы могилы. Потом вы будете спрошены, в день Суда вы будете непременно спрошены, и Аллах обратит вам ваши козни в заблуждения. Тот, кто давал и страшился, и не считал ложью прекраснейшее, тому Господь облегчит к легчайшему; а кто скупился и обогащался, и считал ложью прекраснейшее – тому Господь отяготит к тягчайшему. И не спасет вас достояние, когда вы низвергнитесь. Горе вам, которые лицемерят и отказывают в подаянии. Горе всякому хулителю и поносителю, который собрал богатство и приготовил его! Думаете вы, что богатство вас увековечит?! Так нет же!!! Будете ввергнуты вы в „сокрушилище“. А что даст вам знать, что такое „сокрушилище“? Это огонь Аллаха воспламенённый, который вздымается над сердцами!!! Что завело вас в огонь? Вы не кормили бедняка, и не кого не любили кроме себя, и погрязали с погрязавшими, и считали ложью день Суда. Но говорю вам: Аллах вводит в заблуждение, кого хочет, и ведет прямым путём, кого хочет, и никто не знает Воинств Господа кроме Него. Когда солнце будет скручено, и когда звезды облетят, и когда горы сдвинутся с мест, и когда десять месяцев беременные верблюдицы будут без присмотра, и когда животные соберутся, и когда моря прильются, и когда души соединятся, и когда зарытая живьём будет спрошена, за какой грех она была убита, и когда свитки развернутся, и когда небо будет сдернуто, и когда ад будет разожжен, и когда рай будет приближен – узнает тогда всякая душа, что она себе приготовила. Поэтому сироту не притесняй, а просящего не отгоняй, и о милости Господа твоего возвещай. И молись Богу твоему единому!» – вот что я говорил им. Но люди того времени были жестоковейными, и имели в грудях своих каменные сердца. Поэтому паства не спешила разрастаться. Однако, новые последователи моего учения все же ко мне притекали, хотя, в большинстве своём, это были люди из кругов не влиятельных. Так уж повелось на белом свете, что любовь к Создателю больше уживается в сердцах бедняков, нежели богачей. Почему так? Кто его знает? Может быть от того, что любое настоящее познание происходит через страдания, а страдания почему-то, предпочитает ютиться в бедных хижинах, нежели в роскошных дворцах.

Как бы там ни было, а равнодушие общественного мнения вскоре испарилось так же быстро, как испаряется роса на солнце. Стоило мне открыто выступить против мекканских божеств, как тут же, по всему городу, пошла волна, которая всколыхнула ил на дне голов местных ретроградов. Но это было всего лишь начало брожения. Все обострилось после того, как я выступил против авторитета тамошних богинь; «великих» богинь было три: богиня ал – Лат, богиня ал – Узу, и богиня Манат. И вот появляюсь я и, не замечая всеобщего уважения к столь почтенным идолам, объявляю: «Нет Бога, кроме Аллаха!» После этого всполошились все: жрецы, знать, простолюдины и даже наезжавшие в город с близлежащих степей бедуины. Впрочем, разгоревшаяся смута привела лишь к тому, что число уверовавших в мое слово увеличилось. Однако же, увеличение числа паствы усилило раздражение в обществе – как против меня лично, так и против моих новообращенных последователей. Но не это беспокоило меня тогда. К своему прискорбию, я стал замечать, что в моей общине назревает раскол. Причина этого явления лежала в разногласии между мной и между некоторыми особо рьяными неофитами, которые, с моей точки зрения, чрезмерно впадали в крайность бездумного аскетизма. Никого и никогда не учил я суровой аскезе. Никогда, подобно христианам, я не проповедовал монашества. Никогда я не отрицал радости жизни. Но, вместе с этим, говорил, что иногда человеку необходимы пост и покаяние. Очевидно, не каждый меня понимал, даже из тех, которые хотели понять.

Когда же разногласия между моей общиной и прочими жителями Мекки дошли до своего предела, я принял решение отослать в Абиссинию (на противоположный берег Красного моря) тех верующих, которые вызывали в городе наибольшее раздражение, а так же тех, которые были сторонниками строгости и аскетизма. Делая этот шаг, я убивал сразу двух зайцев:

смягчал отношения с горожанами и на корню пресекал раскол в среде мусульман. Принятые мной меры хотя и сгладили внутриобщинные дрязги, но на отношения с мекканцами особо не повлияли – к нам по-прежнему относились враждебно. Слишком уж тяжел был камень взаимных разногласий, и никто не мог сдвинуть его с места. Во-первых, мекканцы ужасно были преданы старым богам и обычаям; а во-вторых, воскрешение мертвых, на котором я настаивал и о котором часто говорил, казалось им безумием и выдумкой, поэтому многие считали меня одержимым или поэтом (что для них было одно и то же); в-третьих же, многие из них считали немыслимым, чтобы Бог избрал столь незаметного человека (каким в их глазах был я) своим посланником. Но, главное было в другом. Если бы курейшитская знать признала меня Посланником Бога, то вслед за этим, надо бы было признать меня вождём народа, а этого они не желали паче всего. Эх, мой милый друг, вся неправильность человеческой жизни построена на жадности и зависти.

Но, по правде сказать, в то время моей жизни мрачности особой не было. В то время так ярко светило солнце веры, и во всем так ясно чувствовалась милость Аллаха, и жить было легко, и сносить тяготы жизни, тоже казалось легко. Я и представить себе не мог, что через несколько лет все это счастье развеется, как дым, и скорбь падет на мою голову.

Несчастья начались в 619-ом году. В начале этого злосчастного года, Аллах забрал в свои чудесные сады моего дядю Абу Талиба. Он был главой рода Хашим, и всегда относился ко мне как к другу, не смотря на то, что до конца своих дней оставался язычником. Это благодаря нему, я из простого пастуха сделался приказчиком, и, благодаря ему же, во времена курейшитских заговоров против меня, ни один волос не упал с моей головы. Беда никогда не приходит одна. Через два месяца после кончины дяди, вслед за ним, уходит из жизни подруга и жена моя Хадиджа. Да, рок поистине жесток. Одному Аллаху известны мои муки, впрочем, многие такое переживали. Я выстоял. В это же время ситуация с расстановкой сил в городе изменилась таким образом, что мне и моим братьям по вере пришлось и в самом деле тужить. Дело было в том, что после кончины Абу Талиба, во главе рода Хашим, по праву старшинства, оказался другой мой дядя – Абд аль-Уза. Должен сказать, что сей родич мой ненавидел меня едва ли не с самого детства. Именно из-за его «бесконечной милости» меня (пятилетнего) отдали на воспитание к пастухам. Естественно, что он был непримиримым врагом моего религиозного учения, и поэтому сразу же принял против меня свои меры. Меры его состояли, как это всегда бывает, из лжи и клеветы. Он оболгал меня перед курейшитским обществом. Ложь же его состояла в том, что он бессовестно приписал мне утверждения, сущность которых состояла в том, что будто бы я с наглым бесстыдством убеждал людей в том, что мой родной дядя Абу Талиб, якобы, был брошен в ад, поскольку он-де умер язычником. Трудно было придумать что-нибудь бессмысленней этого вранья – но, в городе из-за этого разгорелась дикая смута. Я, конечно же, предпринял несколько попыток обезвредить своего дядюшку, но это ни к чему не привело – никто не хотел меня слушать. Столь неблагоприятная ситуация, хотя и крайне удручала мой дух, однако же, в некоторой мере, действовала на мою волю как хороший рожон, и, таким образом, заставляла меня взглядливо смотреть по сторонам. Под жестким давлением злобных обстоятельств, мою голову, совершенно случайно, осенила соблазнительная и весьма заманчивая мысль – поискать удачи где-нибудь на стороне, вне Мекки. Жизнь почему-то устроена так, что первый блин всегда выходит комом. Точно таким же «скомканным блином» оказалась для меня попытка, найти поддержку в соседнем небольшом городке Таифе, у арабского племени сакифитов. Скажу честно: я едва унес оттуда ноги. Причина их гнева на меня была в том, что я пришел к ним, как власть имеющий, а они явно не желали навесит себе на шею ярмо какого-либо правления, так как, по природе своей, были свободолюбивы. К тому же они особенно почитали богиню ал-Лат, которую я изрядно унижал и хулил в своих проповедях.

Да, в Таифе мне изрядно не повезло, но я не отчаивался: чем больше на мою голову сыпалось неудач, тем крепче в моём сердце становилась вера в бесконечное милосердие Аллаха. Так уж был я устроен, что моему духу всегда претила беспомощность; наверное потому, что я был человеком действия. Отдавая должное находчивости злого рока, я вспоминал о Творце и всегда успокаивался. Да и, по правде сказать, тогда не было особого времени на посыпание головы пеплом – надо было жить, а значит бороться. Именно борьба за свою веру свела меня, в конце концов, с группой «мединцев», которые проживали в Мекке и занимались барышничеством ради куска насущного хлеба. Надобно сказать, что моя покойная мать тоже была родом из Медины, так что, в какой-то мере, мединцы приходились мне за земляков. Взвешивая на весах благоразумия свою ближайшую будущность, я не мог не видеть того, что шаг с переселением в Медину, может быть тем самым благодатным поворотом судьбы, которого я так давно ждал. Но мне хотелось нерушимых гарантий, и потому, исключая всякую опрометчивость и поспешность, я повел через мединскую диаспору Мекки серьезные переговоры со старейшинами Медины. Спешить и в самом деле было ни к чему, тем паче, что Медина тех лет напоминала забитый барахлом чулан, в котором сам шайтан ногу сломит. Это был такой себе плодородный оазис, километров 50 в округе, сотканный из сельских поселений, часть которых была окружена стенами. Население Медины, состоявшее из арабских племен аус и хазрадж, а также еврейских племен бану-кайнука, бану-надир и бану-курайза, – страдало от постоянно вспыхивавших междоусобиц, причиной которых была суровая борьба за воду и плодородные земли. Естественно, иметь дело со своенравными язычниками и предубежденными иудеями было непросто, поэтому-то переговоры с ними растянулись на несколько лет. Вернее сказать, это были даже не переговоры, это была некая попытка подготовки благоприятных условий для моей религии в Медине, которая обретала успех, через обращение в ислам тех мединцев, которые изъявляли к этому желание. Вот так-то, за несколько лет общения с мединцами, мне удалось добиться того, что в Медине, в среде арабов язычников, был частично принят ислам. Впрочем, не многие в Медине желали воспринимать меня как вероучителя и Пророка. Скорее всего, я был для мединцев достодождливым красноречивцем, которому было под силу внести мир в сложное бытие тамошних жителей. Как бы там ни было, но знойной и ветреной осенью далекого 622-го года, я и семьдесят самых преданных мужчин моей общины вместе с женщинами и детьми совершили весьма нелегкое переселение в Медину. По приезде в Ясриб (так в те времена называли Медину), я сторговал и купил у двух мальчиков сирот участок земли, на котором остановилась моя верблюдица, для того чтобы соорудить на нем место для молитвы и построить себе дом. Вообще-то Медина встретила нас без особого радушия – сухо и поделовому. Что делать?.. мы были пришельцами, а пришельцам всегда трудно обживать новое место. Дел тогда было невпроворот. Во-первых, нужно было, во что бы то ни стало, объединить вокруг себя того, кто этого хотел, чтобы хоть как-то смягчить в Медине дух многолетней вражды и междоусобной распри. Во-вторых, в то время нам (переселенцам), как никогда, нужна была денежная независимость. Обрести эту независимость можно было единственным путем, – нападением на мекканские караваны. Да!.. я хотел грабить караваны!!! Но, клянусь тебе, не только нажива двигала мной. Мекканцы продолжали молиться шайтану, а мы молились Аллаху. По сему, мир должен принадлежать либо нам, либо им. Так я тогда думал. Однако думать можно было сколько угодно, а для какой-либо мало-мальски серьезной военной компании нужны были люди, умеющие держать оружие в руках. Правдами-неправдами мне все-таки удалось в скором времени сколотить небольшой военный отряд. Нас было почти триста человек. Пускай тебя не пугает наша малочисленность, ибо наша сила была в том, что все мы были братьями по вере, и были готовы отдать свои жизни за религию Аллаха. Может быть, поэтому, первые наши вылазки были удачливы и успешны. Эти маленькие, но доблестные, успехи произвели на жителей Медины чрезвычайное впечатление. Так уж водится, что удачливый человек привлекает к себе всеобщее внимание. Не был исключением и я. Моё влияние в медин-

ских кругах как-то вдруг и сразу возросло, причём возросло до такой степени, что мне удалось, не только увеличить паству мусульман, но и примирить, на почве ислама, дотоле враждовавшие между собой племена аус и хазрадж. Это была неслыханная удача. Вместе с тем, злополучный и коварный рок не смыкал своих завистливых глаз и сеял на моём пути новые плевелы житейских трудностей. Мекканцы, дабы защитить свою караванную торговлю, отправили против нас хорошо вооруженный отряд легкой и подвижной конницы. На юго-западе Медины есть небольшое торговое селение – Бадр. Именно там мы сцепились с мекканцами. Нас было в три раза меньше чем их, но дрались мы, как львы, и поэтому победа осталась за нами. Это была первая серьезная битва и первая значительная победа. Не трудно угадать, что, после столь удачливого дела, уважение ко мне в среде мединских арабов выросло до небывалых размеров. Пользуясь попутным ветром своей славы, я, спустя месяц после битвы при Бадре, воспользовавшись в качестве предлога религиозными разногласиями, изгнал из Медины еврейское племя бану-курайза. Евреи были опасны. Они отказывались признавать меня посланником Бога, следовательно, выказывали неспособность к религиозной гибкости. Они всегда держались от всего в стороне, как бы кичась тем, что они евреи, и, быть может, из-за этого я никогда не мог понять, что у них на уме. Ну, да ладно... в мои-то годы как-то трудно ворошить эту кучу пожухлых исторических листьев. Эх, сынок, если бы воскресить в памяти былые чувства и былые страсти, может быть тогда, я бы и смог ответить, почему я поступал так, а не иначе. Я ведь никогда не был жестокосердным человеконенавистником. Так откуда же тогда это? Такова, наверное, была воля Аллаха, а иначе и быть не могло. В те дни я поступал так, как требовала того насущность, а она, между прочим, не спешила медлить. Тогда нужно было помнить одно: Мекка оскорблена, Мекка жаждет отмщения, Мекка затаилась для того, чтобы приготовиться к прыжку. Я, конечно, предполагал, что ближайшее будущее утонет в лязге оружия, но не думал, что эти события наступят столь скоро. Не прошло и года, как мекканцы, собрав из людей Мекки и окрестных бедуинских племен 3-ех тысячное войско, двинулись на нас войной. На этот раз сражение произошло на северо-западе Медины, возле горы Ухуд. Я хорошо помню тот день. Неприятности начались с того, что вождь еврейского племени бану-надир, не за долго до мекканской атаки, сообщил мне о своем нежелании участвовать в схватке, и предложил вступить с мекканцами в переговоры, в ином случае, он со своими людьми грозился покинуть поле боя. Принять такие условия я не мог. Каким-то чудом мне удалось уговорить евреев, отступить во внутреннюю часть оазиса, для того, чтоб создать там вторую линию обороны, на тот случай, если мекканцы прорвут наши ряды. Само собой разумеется, что подобные дразги не способствуют усилению боевого духа в сердцах воинов. В нашем стане начали шептаться и роптать. Кто-то пустил слух, что нас будто бы предали; кто-то предлагал сложить оружие и разойтись по домам; кто-то кричал, что во всем виноваты евреи, и нужно им немедленно отмстить, – короче, начался неопиcуемый хаос. Неизвестно, чем бы всё это закончилось, и как бы все это утряслось и улеглось, если бы не вихрь мекканских всадников, которые, подобно черному мареву, показались из-за близлежащих холмов и, набирая стремительность, двинулись на нас, грозя смести все живое со своего пути. Время сузилось и натянулось, как тетива. Едва я успел вскочить на коня и выхватить саблю из ножен, как тотчас же был втянут в какой-то не мыслимый и ни на что не похожий ураган кровавого и потного месива. Все вокруг кричало, стонало, визжало, выло, улюлюкало, содрогалось в предсмертной агонии, боролось, напрягало силы, кололо и рубило на право и на лево. Очевидно было одно – они нас смяли. Надо было что-то предпринять; собрать последние силы и, может быть, в последнем рывке подороже продать свою жизнь. Помню, как я встал на стремя и, напрягая свой сорванный голос, крикнул: «братья!» – на этом моё сознание померкло. Всё закончилось так, как и следовало ожидать: они выиграли, а мы проиграли. Я был ранен из пращи камнем в голову. Мекканцы отомстили за себя и их войско, изнуренное в схватке, ушло домой, не проявив той враж-

дебности, которая обычно свойственна победителям по отношению к побежденным. Как бы там ни было, но они оставили Медину в покое, само собой разумеется – до времени.

Жизнь... жизнь... ты трудна, и состоишь из постоянных передраг. Воистину, нужно быть либо бесшабашным сорвиголовой, либо сметливым мудрецом, чтобы без уныния смотреть в лицо коварной судьбе. Хвала Аллаху, который наделил меня мудростью и изворотливым умом. Благодаря этому мне сразу удалось извлечь весомую выгоду из такого, казалось бы, неблагоприятного обстоятельства, каким было, в глазах многих, поражение от мекканцев. Я сразу понял что к чему и, не колеблясь, возложил всю вину за поражение в битве на евреев племени бану-надир. Возмутить против иудеев раздраженный народ, не составило особого труда. Дело закончилось тем, что племя бану-надир было изгнано из Медины – евреи ушли на север, чудом избегнув кровавой расправы. Такой поворот событий ещё больше усилил моё положение духовного вождя среди местных арабов. С этого времени мои приказания исполнялись практически безоговорочно. Такая власть была мне по нраву, ибо у меня никогда не кружилась голова от власти, потому что я всегда знал, в какое русло её направлять. Я управлялся с властью точно так же, как искусный гончар управляется с куском мягкой и податливой глины. Почувствовав своё могущество, я сразу же придавил тех, кто держался по отношению к исламу лукавого нейтралитета; враги и инакомыслящие с тех пор попритихли, и, уж если и замыслили что, то держали язык за зубами. Единственной серьезной угрозой, по-прежнему, была только угроза со стороны мекканцев. Я был для них костью в горле, и это, очевидно, не давало им покоя. Не прошло и года со дня битвы при Ухуде, как они уже пожалели о том, что не расправились со мной до конца. И они снова начали собирать против нас всеобщее ополчение, надеясь привлечь на свою сторону племена кочующих бедуинов, для того чтоб окончательно покончить с моей мусульманской общиной. Не смотря на то, что время летит быстро, однако, вода в реке человеческих дел течет медленно, поэтому приготовление мекканцев к нападению растянулось на несколько лет. Происки и намерения курейшитов не были для меня тайной, поэтому я не был сильно потрясён, когда узнал о том, что десятитысячная мекканская рать двинулась на Медину войной.

Десять тысяч хорошо вооруженных всадников это была приличная сила, остановить которую в чистом поле не было никакой возможности, тем паче, что в наших рядах бойцов было едва ли не вполосину меньше. Нужно было что-то придумать, каким-то образом перехитрить их и переиграть. Выход нашелся неожиданно. Случилось мне, за несколько месяцев до вышеупомянутых событий, обратить в ислам некоего раба-перса Сальмана аль Фариси. Аллаху было угодно наделить этого человека тонким и гибким умом, который более подобает и приличествует полководцу, нежели тому, кто влачит узы позорного и жалкого рабства. Военная хитрость, которую придумал Сальман, заключалась в том, чтоб вырыть длинный и глубокий ров на северо-западной границе города, и тем самым создать непроходимый барьер для вражеской конницы. Времени было в обрез, поэтому ров вырыли за два дня – рыли все: мужчины, женщины, старики и даже дети. Для того чтобы сделать наш оборонительный рубеж ещё более неприступным, я велел поставить лучников возле рва. Для мекканцев подобная выдумка оказалась полной неожиданностью. Их многочисленная и мощная конница выглядела совершенно беспомощной перед моими лучниками, метко стрелявшими из-за рва. Предприняв несколько вялых атак, они отхлынули и перешли к многодневной осаде. Теперь время работало на нас. Мекканцы, не подготовленные к такой войне, недели через две оказались без продовольствия. В их стане начались раздоры, к тому же, как будто сочувствуя нам, небо одожило землю ненастной погодой. Всё это, мало-помалу, подорвало сплоченность среди нападавших, и вынудило их через месяц отступить. Однако же, перед тем как снять осаду, они попытались снюхаться с евреями племени бану-курайза, которые, кстати сказать, заняли в этой войне выжидательную позицию. Не знаю всю глубину их интриги, но мне достоверно известно, что мекканцы пытались уговорить евреев атаковать нас с юга, однако, евреи отказались.

Да, эту брань мы выиграли малой кровью – наши потери составили всего шесть человек. Странное дело, но война и на этот раз оказала мне услугу, в том смысле, что мне представился замечательный повод обвинить в измене племя бану-курайза, – это было последнее племя в Медине исповедующее иудаизм. Подобно пламени, с треском сжигающим сухую траву, разгорелась в Медине лютая расправа над несчастными евреями. В один день от многочисленного племени не осталось и следа: мужчины были обезглавлены или забиты палками до смерти, женщины и дети проданы в рабство бедуинам области Надежд за верблюдов и оружие, земли и имущество племени было разделено между арабами, принявшими ислам. Отныне Медина стала независимым и самобытным городом мусульманской общины.

Все это было бесчеловечно и очень жестоко; я это понимаю и не оправдываю себя, хотя, человеческое понимание Бога всегда впрыскивалось в цивилизацию людской кровью. Такова была воля Аллаха. О, если бы можно было все вернуть назад; хотя... может быть, ничего бы не изменилось.

Как бы там ни было, а в Медине с тех пор наступил мир. Именно тогда я и создал «завет общины», который полностью зиждился на вере в Аллаха. В то время мне удалось привлечь к исламу немало бедуинских родов и племён. Со мной хотели иметь дело, ибо я устанавливал обязанности и права, по свободному согласию с каждым. Меня стали признавать не только как вождя, который взвешивает отношения внутри и за пределами «общины», но и как Божьего Пророка. Тогда же я стал настоятельно требовать того, чтобы любой род, желающий к нам присоединиться, обязательно принимал ислам, так как всё моё толкование государства строилось на вере в Аллаха. Тогда же я понял, что единственной возможностью сохранить «мусульманский мир», является возможность постоянного давления на мир языческий. А так как центром язычества была Мекка, то все наши усилия, естественно, были направлены главным образом против неё. Надобно сказать, что Мекка была сильным противником, и не так-то легко с ней было бороться. Хотя средств на эту борьбу было положено не мало, однако, результаты были ничтожны, и если бы в то время не умер Иранский шах Хосров-второй, то не знаю даже, чем бы все это могло закончиться. Дело в том, что со смертью Хосрова-второго (который был как бы оплотом всего арабского язычества, ибо сам был жутким язычником), так вот с его смертью курейшидские вельможи едва ли могли рассчитывать на сколь-нибудь сильную и скорую помощь извне. Но и это не было главным. Вскоре после этих событий, я увидел Божественное видение. Я видел Аллаха, который сказал мне: «Соверши паломничество в Мекку, и ты выбьешь у курейшитов почву из под ног».

О, мальчик мой, если бы ты видел наше шествие в Мекку!!! Тысячи вдохновленных Аллахом людей идут поклониться святыне Каабы!!! Музыка, песни, танцы, ликование, жертвенные животные... И что ты думаешь? Они нас не пустили. Вернее сказать, они затеяли переговоры, на которых заявили, что впустить нас в этом году они не могут, но впустят-де в следующем. Что же нам было делать? Мы с ними согласились и выиграли. Толпы мекканских беженцев устремились в Медину, сгорая нетерпением принять новую религию, после принятия которой, они возвращались в Мекку моими горячими сторонниками. Мекка зашаталась и через год сдавалась в руки моим войскам. Всё произошло мирно. За исключением казни нескольких негодяев всем было даровано прощение, правда многих богачей пришлось заставить поделиться с доблестными войнами Пророка Единого Бога Аллаха. Вот так-то, сынок. Это почти вся моя история, за исключением нескольких последних лет земной жизни, о которых не стоит упоминать. Когда пришла помощь Аллаха и победа, и ты увидел, как люди входят в религию Аллаха толпами, то восслав хвалой Господа твоего и проси у Него прощения! Поистине Он – обращающийся!!!»

Старый араб замолчал и надолго задумался. В наступившей тишине повисло загадочное безмолвие, в котором, мерцая, розовели жаркие угли догоравшего костра.

– Скоро рассвет. Летние ночи коротки, надо заварить кофе. – Проговорил старик и стал возиться с потухавшим огнём.

В воздухе, зараженном неподвижностью остановившегося времени, трепыхалась и едва заметно посапывала бесшумная оторопь предрассветного затишья.

– Слушай, сынок, есть такая притча, героем которой является старый мастер игры на сароде, которому, то ли из милости, то ли за виртуозную игру, некий добродетельный человек подарил новый и дорогой сарод. Стало у мастера два инструмента. И вот мастер, человек весьма щедрый, решил подарить один из своих инструментов своему ученику. Как решил, так и сделал. После этого его встречает добродетельный меценат и спрашивает его: «Ну, как звучит тот сарод, что я тебе подарил?» Старый музыкант ответил: «Звучит он божественно, да только его уже у меня нет, ибо я его передарил другому». Это возмутило добродетельного мецената, и он ушел, затаив в сердце обиду на старого мастера. Прошло время, и умер добродетельный меценат, и попал на суд Аллаха. И стал он на суде пред Богом оправдывать свою жизнь добродетельными делами, чтобы, посредством этого, умиливать Творца и заслужить себе, таким образом, место в раю. Но Всевышний и Всеблагий, в ответ на столь рьяную ревность добродетельного мецената, только громко рассмеялся и изрёк: «Твои грехи и добродетели предо Мной аки прах, ибо и то, и другое, является плодом тех возможностей, которые Я вложил в твоё сердце, когда тебя создавал. По сему, иди с миром. Не за дела твои прощаю тебя, ибо дела твои предо Мной суть ничто, прощаю тебя по Своему милосердию».

– И что ответил добрый меценат? – не без интереса спросил я.

– А что тут ответишь, его же простили благодатью Творца, то есть даром, без заслуг и дел. Потому, что делами (какими бы они ни были) не оправдывается перед Господом никакая плоть.

– Что же в таком случае ждет меня?

– Сейчас тебя ждут несколько глотков горячего кофе, а дальше будет видно, – ответил Магомед, подавая мне небольшую медную кружку, из которой шел пахучий и ароматный пар.

Мы сидели и пили кофе. Светало. Мне было грустно, ему, очевидно, тоже. Я чувствовал, что нам предстоит разлука, и от этого мне было отчего-то не по себе. Странно, но мне, как-то вдруг, этот дивный человек показался близок. Дело в том, что в среде людей с босяцкой и воровской судьбой часто встречаются люди добрые сердцем и неглупые от того, что периодически много читают книг всякого рода. Бывают такие индивидуумы, которые за время своих трех-четырёх отсидок перечитывают, скажем, Библию по двадцать раз от корки до корки, запоминая при этом многое, так, что при случае могут цитировать « притчи Соломоновы» или «Откровение» едва ли не целыми главами. Из таких читающих и добрых сердцем рецидивистов, зачастую выходят верующие и нравственно крепкие люди, которые, от момента своего настоящего раскаянья и до могильной сени, ведут чистую и праведную жизнь, которую они стараются наполнять добрыми деяниями и хорошим отношением к окружающим их людям. К такому вот типу людей принадлежал, в какой-то мере, и я. Библию двадцать раз я, конечно, не читал, да и знал в сущности-то больше Новый Завет, и то урывками, знал скорее сущность духа книги, нежели букву. Впрочем, читывал и Достоевского, и Бальзака, и многое другое – в разное время: как в тюрьме, так и на воле. Хотя это может показаться самовосхвалением, но мне хочется сказать, что, даже в то время, я был человеком не совсем диким. Ей-богу не был! Был я груб, а более всего озлоблен, но всё это, не смотря на многолетнее валяние в грязи (чуть ли не с самого детства), всё это не зацепило того ядра души, в котором свивает себе гнездо доброта человеческая. Поэтому-то встреча с Магомедом подействовала на меня так,

что всё лучшее, доселе десятилетиями спавшее во мне, вдруг разом проснулось, ожило и дало надежду на жизнь, всей моей отравленной и испещрённой многими надругательствами душе. Да и дело было не в Магомед – хотя это был Человек. Дело было во мне самом. Есть люди, – и я в их числе, – которые всю жизнь ищут Человека, так же почти ищут, как и легендарный Диоген с фонарём. Говорят, что это потребность найти родственную душу, или желание отразиться в понимающих тебя глазах. Я этому не верю, потому что здесь совсем другая причина. Здесь, как бы желание найти себя самого. Объясню. Живет, скажем, в каком-нибудь провинциальном захолустье мудрец уровня Сократа. Живет до глубокой старости и умирает. Кто во всей вселенной, кроме Творца, знал, что это второй Сократ? Близкие? Соседи? Близкие и соседи, люди, мягко говоря, простые, и, в случае лучшем, они всю жизнь почитали этого мудреца за чудака. Может быть он сам тешился тем, что всю жизнь сознавал мощь собственной мудрости? Но, уверяю вас, что он, как истинный мудрец, всю жизнь знал, что он ничего не знает. Вот таким-то образом перед нами разворачивается картина не познанного существования. Кто-то существует, но никто, из рядом живущих, его не познал; так что внутреннего мира этого «кто-то» для других, как бы, нет. Но если вдруг, какому-либо искателю истины посчастливится встретить такого вот никому не ведомого Сократа, то тут уже, смею вас заверить, вступят в действие иные законы, – законы дерзновения дораста до понимания сути вещей мудрейшего тебя человека. Ведь и фокус весь состоит из того, чтоб увидеть. Сумел увидеть талант, гениальность, глубину, мудрость. Значит и сам, в какой-то мере, талантлив, гениален, глубок и мудр. О, Диогенов фонарь, Диогенов фонарь, быть может, свет твой существует лишь для того, чтобы найти самого себя на кругах бытия.

* * * * *

Меня разбудил звук журчащего ручья, звонкое плескание которого прорезало весёлое щебетание птиц. Я открыл глаза. Вокруг меня были джунгли. Ужасно болела голова. Машинально, по-звериному, на четырех конечностях, проклиная всё и вся, я пополз к воде и, доползши до неё, стал жадно её лакать. Жажда утолялась долго. Чем больше я пил, тем меньше болела голова, так, что когда я оторвался от питья, от моей головной боли не осталось и следа.

В голове прояснилось, и, вместе с этим прояснением, вдруг, откуда-то из глубины воспоминаний, вылетело и закружилось в мозгу слово – Магомед.

«Магомед, Магомед, Магомед, Магомед, Магомед. Магомед...»

– Ах, да!!! Магомед?! Куда делся Магомед?! Или это был сон?! – удивленно спросил я у самого себя.

«Магомед... его ночная исповедь, да и вся эта пустыня. Пустыня? Я ведь был в пустыне!!! Пустыня, книга, старик... старик-то самое главное, чуть было его не забыл».

Сознание и память вернулись на место вместе с крутым и подлым вопросом: что же теперь делать? Делать было почти нечего – нужно было как-то жить, а значит, нужно было куда-то идти. Оценив ситуацию, я принял решение идти вниз по течению ручья. Мне казалось, что, таким образом, рано или поздно, куда-нибудь непременно придёшь, – может быть к истоку большой реки, на берегах которой возможно посчастливится найти людские поселения. Однако все разрешилось не так, как я думал. Я не сделал и нескольких шагов из намеченного мной пути, как вдруг услышал позади себя тихую и нежную мелодию – как будто кто-то играл на сопилке или какой-то флейте. Как полоумный, забыв себя, бросился я бежать на звук загадочной мелодии. Пробравшись сквозь густые заросли и порядком изорвав о кусты свою

одежду, я, наконец, выбежал на поляну, на которой под могучим, разлапистым, старым и раскидистым деревом, сидел, скрестив перед собой ноги, человек в желтом одеянии. Он играл на флейте. Я стоял и тяжело дышал. Это продолжалось с минуту. Внезапно мелодия прекратилась, и человек в желтом одеянии помахал мне рукой.

– Иди сюда, коль пришел! – крикнул он мне, заметив мою нерешительность.

– А ты неплохо играешь на флейте, хотя и не похож на музыканта! – крикнул я ему в ответ и пошел к нему.

– На кого же я, по-твоему, похож? – спросил он меня, когда я приблизился.

– На какого-то монаха, – ответил я.

– Ха-ха-ха... на монаха? Вот не ожидал! Возможно тебе это только кажется – игра первого впечатления. Да и вид у тебя усталый, ты, должно быть, с дальней дороги?

Ласковая улыбка освещала лицо этого человека. Глядя на него, мне почему-то вспомнился старик. Что-то общее было между этими людьми, какое-то неуловимое сходство, сходство то ли в улыбке, то ли в блеске глаз.

– Да, я действительно устал и проделал не лёгкий путь, – начал, было, рассказывать я, но, вспомнив свою историю, резко оборвал.

– Ты можешь мне ничего не говорить, мне и так всё понятно, – сказал он.

– Слушай, я не знаю кто ты, да и знать не хочу! Просто мне это всё чертовски надоело! Понимаешь?! На-до-е-ло!!! Все эти загадки, сны, наказания за грехи, не понятно какие люди, книги, вся эта чушь, будь она проклята!!! Я водки хочу!!! Напиться хочу, как свинья, и домой – поспать на лавочке!!! – закричал я и с бешенством уставился на него, чувствуя, что если он скажет хоть слово, я брошусь на него и задушу.

Если бы мне кто-то сказал, за минуту до этого, что ещё чуть-чуть и я приду к состоянию бешеного исступления, то я бы ему не поверил. Просто диву даёшься иногда, из-за непредсказуемой и необъяснимой несуразности собственной же психологии.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.